

НАРРАТОЛОГИЯ

DOI 10.37386/2305-4077-2020-3-6-17

С. В. Савинков¹

*Воронежский государственный педагогический университет,
Воронежский государственный университет*

К ЭТИОЛОГИИ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ СОБЫТИЯ В ПРОЗЕ ДОСТОЕВСКОГО НАЧАЛА 1860-Х ГОДОВ («СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» И «ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»)²

В статье рассматриваются произведения, имеющие близкую нарративную логику. И в «Скверном анекдоте», и в «Записках из подполья» герои оказываются неспособными на кардинальное изменение. Этиология этой неспособности и становится главным предметным фокусом исследования. Особое внимание в статье уделяется логике взаимоотношений единичного / множественного, индивидуального / типического в характерологическом, психологическом и ментальном аспектах. Характер балансировки между «я» и «мы» в заданном действительностью континууме во многом определяется аксиологической вертикалью – «верхом», «серединой» и «низом». Однако, как показывается в статье, существование в такой системе координат и способствует образованию «общечеловека».

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, тип, теория, подполье, действительность, верх, низ, середина, единичное, множественное, «общечеловеки», «жизненная правда», «живая жизнь».

S. V. Savinkov

*Voronezh State Pedagogical University,
Voronezh State University*

ON THE ETIOLOGY OF A FAILED EVENT IN DOSTOEVSKY'S PROSE IN THE EARLY 1860-S («BAD JOKE» AND «NOTES FROM THE UNDERGROUND»)

The article deals with works that have a similar narrative logic. And in the «Bad Joke» and in the «Notes from the Underground» the characters are incapable of radical change. The etiology of this inability becomes the main focus of research. Special attention is paid to the logic of relations between the individual / multiple, individual / typical in characterological, psychological, and mental aspects. The nature of balancing between «I» and «we» in a given reality continuum is largely determined by the axiological vertical – top, middle and bottom. However, as shown in the article, the existence in such a coordinate system contributes to the formation of the «universal man».

Keywords: F. M. Dostoevsky, type, theory, underground, reality, top, bottom, middle, singular, plural, «universal people», «life truth», «living life»

¹ Сергей Владимирович Савинков, доктор филологических наук, профессор кафедры теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы Воронежского государственного педагогического университета и профессор кафедры журналистики и литературы Воронежского государственного университета.

² Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19–512–23008.

Слово «общечеловек» впервые было использовано Достоевским в том месте «Записок из подполья», где их сочинитель совершает, на первый взгляд, неожиданный переход от первого лица единственного числа к первому лицу множественного числа: от «Я» к «Мы». Такую смену ракурсов нельзя не расценить как важное дискурсивное событие – кардинальное изменение самооценки: самоопределение, основанное на представлении о собственной исключительности, сменяется самоопределением, основанным на представлении о собственной типичности.

Оторванное от жизни (лишенное «собственного тела и крови») существо уже было представлено Достоевским в романе «Белые ночи», в котором его главный герой – Мечтатель – дает себе определение – «...я – тип» – и при этом подчеркивает, что использует его в самом «строгом смысле этого слова» [Достоевский, 1972, т. 3, с. 111]³. Не совсем ясно, что имеет в виду герой Достоевского, говоря о строгости словоупотребления. К примеру, в словаре В. И. Даля к слову «тип» прилагаются такие значения, как «прототип», «первообраз», «подлинник». Однако, как видно из контекста самого романа, когда Мечтатель определяет себя как «тип», то он имеет в виду несколько другое – такую степень своей отвлеченности от жизни, которая отказывает ему в возможности иметь то, что имеют все другие – имя, пол и собственную историю. Поэтому между самоопределением Мечтателя и самоопределением Подпольного человека есть существенное различие: если Мечтатель – тип со значением «исключительное», то «общечеловек» – тип со значением «общее». При этом, однако, «оторванность от жизни» – общая их черта.

Не зря, конечно, что у Подпольного человека так же, как и у Мечтателя из «Белых ночей», нет имени. В определенном смысле и сами записки пишутся не от первого лица, а от лица типа, оперирующего готовыми общими местами. Как показала Рената Лахманн, то, что принимается за напряженную диалогичность подпольного сознания, на самом деле является набором приемов, используемых для разрушения традиционной ораторской риторики: «Убеждающая трактовка риторического высказывания доводится даже до абсурда одновременным введением доказательств и их неожиданным отрицанием» [Лахманн, 1986, с. 38]. А на то, что доказательства Подпольного человека имеют заимствованный характер, обратил внимание еще М. Е. Салтыков-Щедрин: «Свои доказательства он почерпает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику» [Салтыков-Щедрин, 1968, т. 6, с. 493].

Выработанные в изоляции представления о вещах имеют у Подпольного человека головной, литературно-книжный характер с филантропическим уклоном в духе 1840-х годов. За годы его подполья мир вокруг изменился: теперь, в 1860-х, литературно-книжное мечтательство потеснилось разного

³ Далее произведения Ф. М. Достоевского цитируются по этому изданию. Номер тома и страницы указываются в круглых скобках после цитаты.

рода рационалистическими теориями «пользы» и «выгоды». Судя по устройству сознания Подпольного человека, Достоевскому этого периода годов стало очевидным, что «литературное» и «теоретическое» оказались в союзе друг с другом по общему для них признаку оторванности от жизни. Этому странному союзу во многом и будет обязано появление в дальнейшем его творчестве персонажей, парадоксально в себе сочетающих романтическое мечтательство с «разумным эгоизмом»⁴.

О том, что готовые риторические фигуры и готовые сентенции легко могут стать инструментами порабощения, Достоевский размышлял еще в тот период своего творчества, когда им создавались «Маленький герой» и «Село Степанчиково и его обитатели». В «Маленьком герое» таким поработителем является самодовольный муж несчастной брюнетки, а в «Селе Степанчикове...» – целиком и полностью состоящий из разного рода готовых книжных штампов Фома Опискин. И тот, и другой, будучи существами ничтожными, тем не менее, берут верх над всем тем, как сказано в «Маленьком герое», что существует в свойственной всему живому «уклоненной, переходной и неготовой форме» (т. 2, с. 278). Их подобная монолитному изваянию «готовая форма»⁵ не дает ни малейшего намека на то, что при определенных условиях с ними может произойти нечто такое, что заставит их измениться.

Подобно Акакию Акакиевичу Башмачкину, они родились совершенно «готовыми», как бы изначально исключенными из жизненных связей и отношений. При этом, однако, в отличие от героя «Шинели», это позволило им занять положение, если воспользоваться фразеологией «Преступления и наказания», не «твари дрожащей» а «право имеющей» единицы. Причем единицы, настолько поглощенной самой собой, что ни в каких жизненных связях и отношениях и не нуждающейся: «На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное я. Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что всё на свете видит он в таком безобразном виде» (т. 2, с. 276).

В отличие от своих предшественников улажением своего «я» Подпольному человеку приходится заниматься там, где возможность какого-либо сцепления с действительностью сведена до минимума. Подполье – то место, где ничто не препятствует оставленному на самого себя сознанию испытывать особого рода наслаждение от им же самим для себя сочиненных сценариев самоунижения и самовозвышения: «Я, например, над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я всех их

⁴ О том, как такой союз репрезентируется в «кроткой» см.: [Савинков, Косяков, 2009, с. 434–440].

⁵ О категориях «готового»/ «неготового» в творчестве Достоевского см.: [Савинков, 2010, с. 108–132].

прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много „прекрасного и высокого», чего-то манфредовского» (т. 5, с. 133).

Конфигурация сознания Подпольного человека сложилась в результате пересечений и наложений характеристической топики, образующей литературные портреты «маленького», «бедного», «готового» человека. Подобно бедному «маленькому» человеку герой «Записок...» – существо щепетильное, капризное, униженное и оскорбленное. При этом, однако, наделенное тем, что совершенно отсутствует у бедного «маленького» человека⁶, – развитым сознанием. Но именно наличие такого сознания и придает его существованию иную модальность: все то, что для «маленького» человека являлось просто данностью его существования, для Подпольного человека становится унижительной данностью. Подпольный человек уже не скажет, подобно Макару Девушкину, что он «хуже ветошки» и не захочет перестать быть собой и стать другим, подобно Голядкину.

Характер работы сознания Подпольного человека во многом определяется неизжитым подростковым комплексом: «Я такой замечательный, а меня не любят». Поэтому удаляется он в подполье не для того, чтобы, подобно Башмачкину, защититься от действительности в уединенном любовании каллиграфическим письмом, а для того, чтобы она не мешала его самолюбованию. При этом память о существующей за пределами подполья действительности заставляет его испытывать непрерывное беспокойство: сможет ли он выйти из приготовленных для него действительностью унижительных ситуаций с победным ощущением незыблемости своего возвращенного в подполье «верха»⁷. Но вот что примечательно. Оказывается, что одержать верх над действительностью означает для него отстоять свое право на то, чтобы быть с ней «на равной ноге». Иными словами, все усилия Подпольного человека сводятся к тому, чтобы оказаться не «наверху» и не «внизу» аксиологической вертикали общественного положения, а на ее «середине», то есть к тому, чтобы быть как все. Логика здесь приблизительно такова: ощущение неравенства между собой и другими (я выше, чем другие) наталкивается на неравенство, устанавливаемое действительностью (я ниже, чем другие) и заставляет искать выход, который позволил бы найти точку баланса между этими неравенствами (на равной ноге).

Для того чтобы оказаться на равной ноге с унижившим его в бильярдной офицеру (который бесцеремонно отодвинул его в сторону от игорного стола и отнесся к нему как к мешающей его движению помехе), Подпольному человеку понадобилось несколько месяцев на то, чтобы отстоять свое право на равенство с ним. Невозможность разрешить ситуацию возвышенно-

⁶ О литературном характере «маленького» человека см.: [Фаустов, 2015, с. 216–311].

⁷ О «диалектике гордыни и унижения» в творчестве Достоевского см.: [Жерар, 2017, с. 23–55].

литературным образом с помощью дуэли (базирующейся на принципе сословного равенства) заставляет униженного Подпольного человека искать выход, исходя из реалий действительности. В результате «дуэль» принимает форму карикатурного поединка: одержать в нем победу означает не уступить дороги при встрече на Невском проспекте. В отличие от умозрительных теорий (с их, как сказано в «Мертвом доме», «резкими и крупными различиями») действительность чрезвычайно «разнообразна» и «дробна»: она содержит в себе разнообразные и многочисленные формы неравенства даже при формально узаконенном равенстве. Несмотря на то, что Подпольный человек и офицер находятся приблизительно на одной ступени социальной иерархии, неравными их делает уже то, что один из них при столкновении ведет себя как «право имеющий», а другой как «тварь дрожащая».

Во второй части «Записок...» ситуация поиска выхода из унижительного положения получает развернутое описание. В это положение герой попадает, напрашиваясь в общество своих однокашников, точно также его не любящих и не терпящих, как и он их. Напрашивается же он потому, что, с одной стороны, боится оказаться в униженном положении лишнего, а с другой – не может не откликнуться на голос искушающего «а вдруг»: а вдруг они, увидев его развитость, оценят его по достоинству. Однако, в конце концов, как и в истории с офицером, все для него сведется к поиску такого выхода из ситуации, который позволил бы ему остаться с ними хотя бы на «равной ноге». И чем дольше он этот выход ищет и чем больше выпивает лишнего, тем сильнее увязает и в конце концов достигает такого низа, находясь на котором уже нельзя иметь не только надежду на моральную победу, но даже и на дальнейшее беспозорное существование. Апофеозом окончательного падения Подпольного человека становится сцена, когда он просит займа денег у того, кому он и так должен, чтобы вместе с теми, кто его презирает и от себя отгалкивает, ехать в публичный дом, чтобы, пусть даже и таким образом, быть с ними «на равной ноге».

Надо сказать, что подобного рода ситуация поиска выхода из унижительного положения была представлена Достоевским за два года до выхода «Записок из подполья» в рассказе «Скверный анекдот». Ситуативные конфигурации этих произведений имеют очевидные признаки двойничества. Если в «Скверном анекдоте» действительность унизила того, кто спустился к ней сверху – из начальственного кабинета, то в «Записках из подполья» – того, кто поднялся к ней снизу – из подполья. При этом «верх» и «низ» смыкаются между собой: и кабинет и подполье (и, если продолжить ряд, похожая на шкаф комната Родиона Раскольникова) – места, идеально подходящие для всякого рода теоретических измышлений.

В «Скверном анекдоте» исходное положение существования над действительностью занимает новоиспеченный генерал, еще не до конца свыкшийся с новым для него к нему обращением «ваше превосходительство». Его превосходство отмечено и его положением на службе – он начальник, и его собственным о себе мнением как о высококоразвитой личности. О масштабах этой

развитости, с его точки зрения, убедительно свидетельствуют его либеральные взгляды и вера в прогресс на основе способного объединить всех людей гуманизма. По поводу способа такого объединения у генерала сложилась даже собственная теория в духе теории разумного эгоизма Н. Г. Чернышевского. В ее основе – идея нисхождения: каждый вышестоящий начальник должен снизойти до нижестоящего подчиненного на всех уровнях социальной иерархии – «от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика» (т. 5, с. 8). Согласно теории, такое нисхождение непременно вызовет у каждого подчиненного благодарственный отклик: писарь полюбит чиновника, дворовый слуга – писаря; мужик – слугу и т. д. В конечном счете, таким способом достигнутая гуманность даст возможность обняться «нравственно» и решить «дело дружески» (т. 5, с. 9).

Случай предоставляет генералу-теоретику возможность испытать свои прогрессивные идеи на деле. Однажды ему пришлось возвращаться из гостей пешком: кучера не оказалось на месте именно в тот момент, когда ему – его превосходительству – пожелалось отправиться восвояси. Дорога вела его мимо дома, в котором игралась, судя по знакомой фамилии, свадьба его подчиненного. Запомнил же он эту фамилию потому, что ее нелепо искажала втершаяся буква «л»: Пселдонимов вместо Псевдонимов. (Можно сказать, что благодаря «гуманистическим» убеждениям генерала уже не в фамилию, а в саму жизнь бедного чиновника произойдет вторжение чужеродного элемента, который хорошенько подпортит даже и ту жизнь, которую нельзя назвать жизнью). И в этот момент генералу (не без влияния состояния легкого подпития) в голову приходит мысль, сулящая ему возможность испробовать идею разумного гуманизма на деле и еще больше вознестись в собственных глазах. Мысль заключалась в том, чтобы снизойти до своего подчиненного, неожиданно объявившись на его свадьбе. Картину такого его нисхождения во всех подробностях и нюансах ему представило воображение:

«Разумеется, я, как джентльмен, на равной с ними ноге и отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков... Но нравственно, нравственно дело другое: они поймут и оценят... Мой поступок воскресит в них всё благородство... Ну и сижу полчаса... Даже час. Уйду, разумеется, перед самым ужином, а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, а от ужина откажусь. Скажу: дела. И уж только что я произнесу «дела», у всех тотчас же станут почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они и я – это разница-с. Земля и небо (т. 5, с. 14).

Поначалу все так и происходит. Однако вскоре генерал стал замечать, что он постепенно утрачивает положение снизошедшего до низа благодетеля и гуманиста (уже только потому, что позволил допустить до себя тех, кто не при каких условиях не мог бы быть с ним на равной ноге). В этот момент действительность подает первый сигнал о том, что она готова пошатнуть сложившийся в голове генерала образ высокого и прекрасного собственного «я». Снизойти до равенства в теории и оказаться в равном положении в действительности оказалось не одним и тем же. Представление о высоте своего «я» сменяется тревожным ощущением, что оно

утрачивает свою безоговорочную незыблемость уже только потому, что те, к кому он снизошел, позволяют себе переносить свое внимание на что-то постороннее его фигуре, и уже одной такой рассеянностью умалить ее значение. Знаки такого умаления, вызывая в нем беспокойство, заставляют его отложить на время победоносный уход до того момента, когда между ним – его превосходительством – и теми, до кого он снизошел, вновь образуется предустановленная гармония между «верхом» и «низом». Однако такое откладывание только усугубляет положение. И чем дольше генерал остается «на равной ноге» со своим подчиненным, тем отчетливее испытывает ощущение, противоположное своим изначальным представлениям о своем гуманизме. Он чувствует, что ответное движение на его благородный поступок – не любовь и благодарность, а нечто прямо им противоположное – неприязнь, граничащая с ненавистью. Однако подогретое шампанским тщеславие заставляет генерала все время откладывать свой уход, хотя с каждым разом шансов уйти победителем у него остается все меньше и меньше. Каждая последующая выпитая рюмка усиливает внутреннее противоречие между желанием всех обнять и любить и недоумением по поводу того, почему все присутствующие не хотят оценить того, как «гуманно он готов снизойти до всех, до самых низших» (т. 5, с. 31) и осчастливить их своим присутствием.

«Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность... Ему захотелось вдруг обняться с ними со всеми, забыть всё и помириться. Мало того: рассказать им всё откровенно, всё, всё, то есть какой он добрый и славный человек, с какими великолепными способностями. Как будет он полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол и, главное, какой он прогрессист... и, наконец, в заключение, откровенно рассказать все мотивы, побудившие его, незваного, явиться к Пселдонимову, выпить у него две бутылки шампанского и осчастливить его своим присутствием» (т. 5, с. 31). Однако вместе с надеждой на то, что «все они будут любить меня, и я выйду со славою!..» (т. 5, с. 31), его не покидает и ощущение униженности. Крайнюю же ее степень генерал достигнет тогда, когда изрядное количество им выпитого лишит его человеческого облика и заставит безжизненно рухнуть на пол. После такого падения и пережитого стыда ему покажется уже совершенно невозможным вернуться к прежнему представлению о значимости собственного «я».

Как видно, нарративы «Скверного анекдота» и «Записок из подполья» выстраиваются, следуя одной и той же логике: и в том, и в другом случае рассказывается о персонажах, которые, каждый по-своему, попали в одну и ту же ситуацию крайней степени постигшего их унижения. При этом, что примечательно, оказалось так, что ни для одного, ни для другого такое падение не стало отправной точкой их последующего изменения. В итоге и тот и другой благополучно возвращаются на исходные позиции: генерал в кабинет, а Подпольный человек – в подполье.

Однако в структуре этих произведений присутствует ситуация, которая, формально располагаясь на обочине повествования, для понимания авторского целеполагания имеет первостепенное значение. Для генерала из «Скверного

анекдота» – это встреча с матерью своего подчиненного, для Подпольного человека – с Лизой. И в том, и в другом случае эти ситуации могут осмысливаться как события соприкосновения с тем, что Достоевский назвал «жизненной правдой», являющейся для него, как можно думать, корневой сутью «живой жизни».

О том, как встреча с жизненной правдой может изменить человека, Достоевский размышляет в своем «Дневнике писателя за 1877 г.» в связи с той сценой в романе Толстого «Анна Каренина», в которой героиня оказывается в непосредственной близости со смертью.

«Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) – и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековая жизненная правда и разом всё озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, – единственно силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими <...> Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, которые мы считаем часто за самые высшие, – всё это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суэта, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, даже и не защищаясь» (т. 25, с. 52–53).

Для Достоевского эта сцена из Анны Карениной имеет значение чрезвычайной важности: она указывает на то, что встреча с «жизненной правдой» – реальная возможность: «Главное было в том указании, что момент этот есть в самом деле, хотя и редко является во всей своей озаряющей полноте, а в иной жизни так и никогда даже» (т. 25, с. 52–53). Очевидно, что то, о чем говорит Достоевский, имеет отношение и героям «Скверного анекдота» и «Записок из подполья». Так или иначе, у каждого из них состоялась реальная встреча с озаряющим моментом жизненной правды.

В то время как достигший абсолютного низа генерал, поневоле заняв чужое место на приготовленной для новобрачных кровати, невыносимо страдал и морально и физически, за ним ухаживала мать его подчиненного: «Она приютилась на полу, на коврик, и накрылась шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно: с Иваном Ильичом сделалось ужасное расстройство желудка. Пселдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сняла с него всё платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую посуду и вносила ее опять» (т. 5, с. 40).

У матери Пселдонимова никакой теории гуманизма нет. При этом она его проявляет самым непосредственным образом: ухаживает за страждущим генералом так, как ухаживала бы за своим безмерно ею любимым сыном, и это несмотря на то, что этот человек только что бесцеремонно вторгся в его жизнь и еще больше осложнил ее. И проявляет она этот гуманизм только потому, что интуитивно знает, что нельзя не сочувствовать и не сострадать страждущему человеку, и никакой другой объясняющей ее поведение логики просто нет. «Он... слышал ее незлобивые увещания вроде: «Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, стерпится – слюбится», узнавал и не мог, однако, дать себе никакого логического отчета в ее присутствии подле себя» (т. 5, с. 42). И может быть, самое важное место в этой сцене – момент осознания Иваном Ильичем (и здесь на первом плане оказывается его имя, а не генеральский чин) того, что «если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта старуха» (т. 5, с. 42). Не стыдиться и не бояться можно только в том случае, если нет никакой необходимости беспокоиться о своем положении в действительности – ни о своем «верхе, ни о своем «ниже». Это, по всей видимости, и есть тот «момент озарения жизненной правдой», о котором Достоевский заговорил в связи с Толстым.

Однако если у Толстого встреча с «жизненной правдой» и является тем событием, ради которого и выстраивается вся нарративная программа того или иного его произведения, то у Достоевского это явно не так. Если, к примеру, толстовскому Ивану Ильичу (из произведения «Смерть Ивана Ильича») озарение «жизненной правдой» – пусть и перед самой смертью – дает возможность измениться и признать, что его прежняя жизнь не была настоящей жизнью, то вот удастся ли это Ивану Ильичу из «Скверного анекдота», далеко не очевидно. Судя по финалу, скорее всего, что нет. А то, что встреча с Лизой не изменила Подпольного человека, – безоговорочный факт. Когда Лиза непосредственно-интуитивно двинулась навстречу этому издерганному существу и его обняла (почувствовав, что перед ней не менее несчастный человек, чем она), в этот момент Подпольный человек испытал то, чего никогда не испытывал раньше, – высвобождение от непрерывно унижающей его действительности и от непрерывной работы его большого сознания, не позволяющего ему окончательно разрешить сакраментальный для него вопрос о его принадлежности – к «верху» или к «низу».

Как генерал, который только рядом с матерью своего подчиненного «не стыдился и не боялся», так и Подпольный человек в какой-то миг испытал то, чего никогда раньше не испытывал: «Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало...» (т. 5, с. 175). Там, где есть сострадание и любовь, там нет ни верха, ни низа, нет ни первостепенных ролей, ни второстепенных, потому что сострадание и любовь есть средоточие все-объединяющей живой жизни. Там, где есть сострадание и любовь, там нет «фантастического», с которым у Достоевского, с одной стороны, рифмуется

и сама действительность, которая, как сказано в «Записках из мертвого дома», «стремится к раздроблению» (т. 4, с. 197), а с другой, книжная мечтательность и отвлеченная от жизни теория.

Однако ни генералу, ни Подпольному человеку измениться у Достоевского не суждено. И тот и другой, не выдержав испытания «жизненной правдой», совершают низкий поступок. Генерал совершает его тогда, когда просит передать переходящему в другой департамент Пселдонимову, что не терпит на него зла (хотя он сам зло ему и причинил). А Подпольный человек – тогда, когда сознательно совершил «символическое оскорбление» [Назирова, 1971, с. 151] в виде пятирублевой ассигнации: «В крайнем пароксизме злобы, герой за предполагаемую униженность в глазах Лизы мстит ей последним средством – пренебрежением» [Скафтымов, 1972, с. 101]. И в том, и в другом случае униженность и низость семантически дифференцируются. Если из ситуации крайней степени униженности выход все-таки находится, то из ситуации, где в ответ на озарение «жизненной правдой» проявляется низость, выхода нет никакого.

Неспособность к изменению оказывается у Достоевского той типической чертой, которая присуща и генералу, и Подпольному человеку. И тот и другой, имея разный социальный статус – начальника и подчиненного, оказываются принадлежащими одному и тому же множеству, эту разность стирающему и тем самым их между собой уравнивающему как раз до положения «на равной ноге». И тот, и другой могут быть определены тем самым словом, которое использует Подпольный человек, совершая переход от «я» к «мы»: «Мы даже и человеками-то быть тяготимся, – человеками с настоящим, собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками» (т. 5, с. 181). Они таковы потому, что даже при встрече с жизненной правдой, оказываются не способными себя превозмочь и измениться таким образом, чтобы обрести не фантастическую, а подлинную жизнь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Ф. М. Достоевский. – Ленинград: Наука, 1972 – 1990.

Жерар, Р. Психология подполья / Р. Жерар // Достоевский: от двойственности к единству. – Москва: ББИ, 2017. – С. 23–55.

Лахманн, Р. Диалогический принцип или риторика? (О «Записках из подполья» Достоевского) / Р. Лахманн // Wiener Slavistischer Almanach. – 1986. – № 17. – С. 33–42.

Назирова, Р. Г. Об этической проблематике повести «Записки из подполья» / Р. Г. Назирова // Достоевский и его время. – Ленинград: Наука, 1971. – С. 143–153.

Савинков, С. В. *Готовое и неготовое* как формы существования в творчестве Достоевского / С. В. Савинков // Савинков С. В., Фаустов А. А. Аспекты русской литературной характерологии. – Москва: Кулагиной – Intrada, 2010. – С. 108–132.

Савинков, С. В. «Кроткая» Ф. М. Достоевского: самоотрицание мечтательства / С. В. Савинков, С. А. Косяков // Универсалии русской литературы. – Воронеж: Научная книга, 2009. – С. 434–440.

Салтыков-Щедрин, М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. / М. Е. Салтыков-Щедрин. – Москва: Художественная литература, 1965–1977.

Скафтымов, А. П. «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского / А. П. Скафтымов // Нравственные искания русских писателей. – Москва: Художественная литература, 1972. – С. 88–134.

Фаустов, А. А. «Маленький» человек: первый цикл жизни характера / А. А. Фаустов // Фаустов А. А., Савинков С. В. Универсальные характеры русской литературы. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2015. – С. 216–311.

REFERENCES:

Dostoevskij, F. M. Polnoe sobranie sochinenij: v 30 t. / F. M. Dostoevskij. – Leningrad: Nauka, 1972 – 1990.

Faustov, A. A. «Malen`kij» chelovek: pervy`j cikl zhizni haraktera / A. A. Faustov // Faustov A. A., Savinkov S. V. Universal`ny`e haraktery` russkoj literatury`. – Voronezh: Voronezhskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet, 2015. – S. 216–311.

Laxmann, R. Dialogicheskij princip ili ritorika? (O «Zapiskax iz podpol`ya» Dostoevskogo) / R. Laxmann // Wiener Slavistischer Almanach. – 1986. – № 17. – S. 33–42.

Nazirov, R. G. Ob e`ticheskoj problematike povesti «Zapiski iz podpol`ya» / R. G. Nazirov // Dostoevskij i ego vremena. – Leningrad: Nauka, 1971. – S. 143–153.

Savinkov, S. V. Gotovoe i negotovoe kak formy` sushhestvovaniya v tvorchestve Dostoevskogo / S. V. Savinkov // Savinkov S. V., Faustov A. A. Aspekty` russkoj literaturnoj karakterologii. – Moskva: Kulaginoj – Intrada, 2010. – S. 108–132.

Savinkov, S. V., Kosyakov, S. A. «Krotkaya» F. M. Dostoevskogo: samootricanie mechta-tel`stva / S. V. Savinkov, S. A. Kosyakov // Universalii russkoj literatury`. – Voronezh: Nauchnaya kniga, 2009. – S. 434–440.

Salty`kov-Shhedrin, M. E. Sobrahanie sochinenij: v 20 t. / M. E. Salty`kov-Shhedrin. – Moskva: Xudozhestvennaya literatura, 1965–1977.

Skafty`mov, A. P. «Zapiski iz podpol`ya» sredi publicistiki Dostoevskogo / A. P. Skafty`mov // Nravstvenny`e iskaniya russkix pisatelej. – Moskva: Xudozhestvennaya litera-tura, 1972. – S. 88–134.

Zherar, R. Psixologiya podpol`ya / R. Zherar // Dostoevskij: ot dvojjstvennosti k edinstvu. Moskva: BBI, 2017. – S. 23–55.